

ОН ПРЕДАЛ ЕЁ. НО НЕ СМОГ ОТПУСТИТЬ.



РАЗВОД. ДРАКОН ЗАБЕРЁТ СВОЁ

Роман Кубов

Роман Кубов

**РАЗВОД. ДРАКОН
ЗАБЕРЁТ СВОЁ**

«Автор»

2026

Кубов Р.

РАЗВОД. ДРАКОН ЗАБЕРЁТ СВОЁ / Р. Кубов — «Автор»,
2026

Меня зовут Веста Корнева. Три года я была женой драконьего князя Веррона Скарра — и три года была для него лишь деловым договором: красивая, тихая, удобная. На осеннем балу, при всём зале, он объявил, что наш брак был сделкой, и ушёл к другой. Я подписала развод, забрала сундук и уехала на юг, чтобы начать жизнь заново. Но драконы не умеют отпускать.

© Кубов Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1	8
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	16
Глава 5	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Роман Кубов

РАЗВОД. ДРАКОН ЗАБЕРЁТ СВОЁ

Глава

Пролог

«Бал, на котором закончилось всё»

Музыка в большом зале звучала так громко, что дрожали канделябры. Свечи, золото, шёлк — Северный предел умел принимать гостей. А я, княгиня этих земель, стояла у мраморной колонны и улыбалась так, как меня учили три года назад: спокойно, закрыто, красиво.

Княгиня не показывает, что у неё болит сердце.

Княгиня вообще не показывает, что у неё есть сердце.

Мой муж был в другом конце зала. Высокий, в чёрном камзоле с серебряной вышивкой, он возвышался над толпой голов на две, и любая женщина в этом зале смотрела на него иначе, чем на простых смертных мужчин. Я знала этот взгляд. Я и сама смотрела на него так — когда-то, давно, когда ещё верила, что между нами может быть больше, чем договор.

Возле него стояла леди Изора Вейль.

На ней было платье цвета тёмной вишни. Она смеялась — легко, открыто, так, как я не смеялась уже очень давно. И рука её лежала на рукаве моего мужа так, словно это было самое естественное место в мире.

Я смотрела на них и понимала: что-то сейчас случится.

В такие вечера воздух пахнет бедой. Я научилась это чувствовать ещё в детстве, когда отец возвращался домой с чужих дворов и молча снимал сапоги — а наутро мы узнавали, что он не смог кого-то спасти.

Вокруг меня шушукались. Даром что дамы отворачивались, когда я ловила их взгляды. Драконы жёны шепчутся громче всех, кто вообще умеет шептаться.

— Говорят, он привёз её из столицы. Говорят, она была его невестой до войны...

— А что княгиня? Смотрит, как змея на кролика.

— Тише ты. Она же целительница, у них чутьё.

— Моё чутьё подсказывает: конец её браку.

Я сделала вид, что не слышу.

Я здорово умела делать вид, что не слышу. Три года упражнялась.

Музыка смолкла. Веррон поднял руку, и люди расступились перед ним, как море перед кораблём. Нет, перед этим человеком расступались иначе — так расступаются перед утесом, который решил упасть.

— Осенний бал, — сказал он негромко, но слышно было каждому. — Я объявляю его открытым.

Раздались аплодисменты. Он подождал, пока они стихнут, и посмотрел прямо на меня.

Сердце у меня пропустило удар.

— И прежде чем начнётся веселье, — продолжил он, — я хочу объявить то, что должен был объявить давно.

Вот оно.

Я вдруг поняла это совершенно ясно, как понимают, что лёд под ногами пошёл трещинами — сначала тонкая белая паутинка, а потом уже не важно, как ты стоишь.

— Брак, заключённый три года назад между мной и Вестой Корневой, был сделкой. Вы все это знали. Я больше не считаю нужным его поддерживать.

Тишина была такой, что было слышно, как трещит фитиль в свече.

Кто-то ахнул. Кто-то засмеялся — тут же подавился смехом. Полетели взгляды — на меня, на него, на Изору.

Изора стояла белая, как её перчатки. Она даже попятилась на полшага. Вот только Веррон не смотрел на неё. Он смотрел на меня — и в этих серых глазах не было злости.

Вот что меня ударило сильнее всего. Не злость. Не насмешка.

Почти горе.

— Бумаги будут готовы, — сказал он мне одними губами. — Ты получишь всё, что положено по договору.

— Мне ничего не положено по договору, — услышала я свой голос. Ровный. Чуть удивлённый — надо же, какой ровный. — По договору мне положена только свобода.

По залу прошёл новый шелест. Теперь уже удивлённый.

Я медленно спустилась с возвышения. Платье было тяжёлым, ноги не слушались, но я шла — к нему, сквозь расступившуюся толпу, и ни одна жилка на моём лице не дрожала. Меня этому тоже научили. Три года.

Я остановилась в двух шагах от Веррона и посмотрела ему в лицо.

Он был красив. Он всегда был красив — той суровой, северной красотой, от которой у женщин подкашиваются колени и делаются глупости. Я, к сожалению, тоже сделала глупость: за три года я умудрилась полюбить собственного мужа.

— Я ничего не возьму из твоего дома, — сказала я. — Ни золота, ни земель, ни платьев. Я возьму только то, с чем пришла: своё имя и свою искру.

— Веста...

Он наклонился было ко мне. Я шагнула назад — впервые за три года.

— Сегодня я уйду, — сказала я. — А ты останешься. И это, Веррон, единственное, чего я тебе желаю: остаться. Со всем, что ты нажил.

Я развернулась и пошла к выходу. Спина у меня была прямая. Я знала, что зал смотрит мне вслед, и волнует меня это было меньше, чем то, как дрожат мои собственные пальцы.

У самых дверей я обернулась.

— И да, — сказала я, и теперь мой голос звенел. — Передайте леди Изоре, что вишнёвый цвет ей к лицу.

Дверь за мной закрылась.

В коридоре я сделала три шага — и прислонилась к стене. Воздух кончился. Всё кончилось. Я стояла в пустом коридоре, прижимая ладони к холодному камню, и смотрела на огонь факела, пока он не поплыл, пока не рассыпался на две цветные луны.

Мне нельзя было плакать. Не здесь. Слуги умеют смотреть сквозь двери.

Но у меня внутри что-то горело — по-настоящему, по-настоящему — и гасло. Мой дар. Моя живая искра, которая три года назад согревала чужую боль и возвращала умирающих с порога, теперь сжималась в кулак и затухала, как уголёк под пеплом.

Я цеплялась за это странное новое чувство — оно было лучше, чем боль. Лучше, чем жалость к себе. Ярость. Вот что у меня осталось.

Я разжала пальцы.

До моей комнаты оставалось сорок шагов. Потом — одна ночь. Потом — дорога.

Утро, говорила я себе. Утром всё закончится по-настоящему.

Я не знала тогда, что самое страшное не когда он объявляет при всех, что твой брак был сделкой.

Самое страшное — когда он потом приносит бумаги сам. И смотрит так, будто сжигает их взглядом, хотя руки у него каменные и голос ровный.

И я не знала, что эти бумаги он подпишет последними.

Через три дня я буду стоять у ворот и не оборачиваться. А он будет стоять на стене — и впервые за три года его пламя сорвётся с цепи.

Но об этом я узнаю позже.

Сейчас — только ночь, сорок шагов, и замок, который дышит за моей спиной огнём.

Глава 1

«Сделка, которую я подписала сама»

Меня зовут Веста Корнева. Мне двадцать один год. К моменту, когда я стояла в пустом коридоре Гнезда и прижималась лбом к холодному камню, я уже три года была замужем за драконом — и три года не была никому нужна, кроме моих пациентов.

О том, как я оказалась в этом браке, принято говорить тихо. У нас на севере вообще многое принято говорить тихо, потому что стены тут в два локтя толщиной, а печей — полсотни, и в каждой гуляет свой огонь.

Всё началось, когда мне было восемнадцать.

Я родилась в семье уважаемой, но не богатой. Мой отец, Левен Корнев, был целителем — не магом, нет, а настоящим лекарем, каких много в любом городе: с настойками, ланцетами, утомлённым взглядом и вечно занятыми руками. А вот мать моя, из южного рода Ветровых, имела дар. Живую искру. Так у нас называли огонь, который не жжёт, а лечит.

Дар у матери был слабый. Лучина, а не факел. Ей хватало снять жар у дитяти да вытянуть зубную боль, и то — с четвёртого раза. А в меня он, как говорили все, «перепрыгнул через целую голову». Уже в пятнадцать я могла остановить горячку, которая отправляла людей на тот свет, а в шестнадцать — свела с порога хворь кузнеца, и кузнец потом ходил, рассказывая, что рука у него будто заново родилась.

Отец держал меня за это наказание. Нет, вру: он держал меня за сокровище и боялся за меня больше, чем за своё добро, потому что добро можно спрятать в сундук, а дар — нельзя. Дар горит. Люди видят его, как видят огонь в ночи, и приходят к огню все: и те, кому нужна помощь, и те, кто хочет согреться, и те, кто хочет у огня погреть руки, а потом его задуть.

Мне было восемнадцать, когда у отца случилась беда — не с ним, с больными. В том году по южным дорогам ходила горячка, и отец, как всегда, вытащил всех, кого мог. У него не вышло спасти сына местного богатея — мальчика, которого, честно сказать, уже не спасти было, я сама видела: грудь в чёрных пятнах, жар, от которого свечи плавились. Отец сделал всё. Парень умер.

Мать моего будущего — нет, моего прошлого — мужа, с этим делом никак не связана, поэтому если ты читаешь сейчас и думаешь, что сейчас будет душещипательная история про то, как семью Корневых начали травить, — то ты почти угадала.

Травить начали не семью. Меня.

В нашей глуши богатеи мало что умеют, но умеют одно: выживать. Они наняли судей, и судьи приехали смотреть мой дар. А потом предложили «проверку»: поднять безнадёжного. Я отказалась. Я видела того мальчика — у него было то, что моя мать называла «порванной нитью». Иногда жизнь кончается, и никакая искра её не соберёт. Я не умела поднимать с того света. Никто из живых не умеет.

Меня объявили «целительницей с дырой в даре», «шарлатанкой», «тенью на честном имени лекаря». Судьи наложили на отца штраф, какой он не мог заплатить, а когда он не заплатил — отобрали у нас дом. Вот так быстро. Одна зима — и Корневы стали жильцами при богадельне.

Я ненавидела в той истории не богатеев. Я ненавидела себя: что стояла, смотрела, как отца топчут ногами, и молчала, потому что слов у меня не было, а огня — было слишком много.

В ту же зиму умерла мать. Осипла, ослабла, занедужила — и ушла. Моя искра не смогла её удержать. Я стояла над матерью с пылающими ладонями, и впервые поняла: есть болезни, от которых огонь не помогает, а только мешает. Есть такие, для которых нужен другой огонь.

Или другой человек.

К весне отец постарел на десять лет. Он больше не лечил — он писал. Письма. Одно за другим. Я думала — родне, бывшим пациентам, судьям. А потом в наш флигель постучали, и на пороге вырос человек в чёрном. Он не назвался. Просто сказал:

— Князь Скарр читал письма вашего отца. Князь предлагает вам, госпожа Корнева, защиту, дом и покой. Ценой — брак.

Я тогда спросила два вопроса: сколько мне лет и не сошёл ли он с ума.

Мне было девятнадцать. Князю Скарру — двадцать восемь. Он был главой Северного предела, лордом Гнезда, драконом — последним из рода, чей огонь был, по слухам, «сильнее, чем у всех, кто жил в этих стенах». Почему ему понадобилась жена из захудалого южного рода?

— Потому что ваша искра, — сказал посланник, — единственная, что не боится огня.

Я тогда не поняла. Признаюсь честно: я решила, что речь о том, что драконы горят и им нужны те, кто умеет тушить ожоги. Я даже подумала, что это благородно: стать врачом при раненом звере.

Мне было девятнадцать, и я была дура. Но — выбирать между богадельней и браком, я выбрала брак. Может, кто-то назовёт это расчётом. Отец назвал это спасением. А я — я выбрала это сама, и если мне когда-нибудь кто-нибудь скажет, что меня продали, я отвечу: меня никто не продавал. Я сама подписала бумагу. Своей рукой. Своим именем.

Свадьба была зимой. Я стояла в церкви, — вы знаете, у нас на севере вместо церквей крипты, и огонь в криптах не жгут, иначе рухнет весь промысел, — в белом платье, за которое заплатил чужой человек, и смотрела на своего жениха.

Веррон Скарр был не красив. Красивыми называют тех, кого хочется рассматривать, а его хотелось или бояться, или защищать. Высокий, широкий в плечах, с лицом, будто вырубленным из тех самых стен — прямое, тёмное, с очень светлыми глазами. Серые, почти белые, как зимнее небо. Он смотрел на меня так, как смотрят на присланный товар: оценивающе, без злости, без интереса.

— Вы ведь понимаете, — сказал он мне вместо клятвы, — что это деловая договорённость?

— Понимаю, — ответила я, а сама подумала: «Зато ты красивый».

Не горжусь. Но так было.

Княгиней я стала ровно с той минуты, как расписалась в книге рода. Мне дали комнаты в Гнезде, прислугу, гардероб и «право лечить кого сочту нужным». Последнее, как ни странно, было в договоре — выписанное, с печатью. Князь не обманул. Единственное, чего он не дал, — это тепла. Не любви. Тепла.

Наш брак был ледяным. И это моя вина не меньше его, потому что я ехала туда с надеждой, а он — с условием, и, когда одно из этих двух рушится, всегда рушится то, которое нежнее.

Первая наша ночь стёрла все мои глупые надежды, и о ней стоит сказать отдельно.

Глава 2

«Ночь, после которой он стал мне чужим»

Я не буду рассказывать ту ночь подробно. Не потому, что стыдно — стыдно как раз-таки было не то, что вы подумали, а то, чего не случилось.

Я ждала его в спальне. На мне была ночная сорочка, присланная вместе с приданым — тонкий шёлк, кружево, всё по меркам, будто меня мерили заранее, пока я ещё ехала и думала, что еду на спасение. Свечи горели. Камин гудел. За окном кричали северные ветры, и Гнездо стояло на скале так, что казалось: вот-вот сорвётся.

Он вошёл без стука, посмотрел на меня, как всегда — оценивающе, — и сказал:

— Ты красивая.

— Спасибо, — ответила я.

— Я не делаю комплиментов. Я констатирую.

И вот тут я совершила ошибку. Я засмеялась. Немного — не удержалась. Потому что это было так по-княжески: даже комплимент у него звучал, как приговор.

Что-то в его лице изменилось. Мне показалось — оттаяло. Он подошёл, взял меня за подбородок, наклонился. Я закрыла глаза. Я была юной, глупой и неженной ночью хотела не золота, не титула, не статуса — я хотела наконец, чтобы у меня было что-то своё. Живое.

Он поцеловал меня.

И я почувствовала огонь.

Нет. Не метафорически. Если ты не жил рядом с драконом, ты не поймёшь, каково это, когда он целует тебя — и у него в груди полыхает печь. Я почувствовала его жар сквозь рубашку, сквозь свои ладони, сквозь всё. Это было прекрасно. Это было жутко. И это — я узнаю это и по сей день — было самое настоящее, что было между нами, пока он меня не сжёг.

Вернее, чуть не сжёг.

Его пламя сорвалось с цепи. В один миг — я стояла у него в объятиях, а в следующий — комнату озарило, будто в ней вспыхнула печь, и воздух стал горячим, как в кузнице. Я не успела испугаться: я успела только отпрянуть. И тут увидела его лицо.

Веррон смотрел на свои руки. На них танцевало пламя — живое, золотое, тяжёлое, как жидкое стекло. Не жгло даже одежду на нём. Но у меня на запястье, там, где он держал меня за руку, осталась красная полоса. Не ожог. След. Словно кто-то провёл по коже раскалённым прозрачным пером.

Он отшатнулся от меня, как от чумы.

— Ты не сказала, что у тебя огонь неуправляем, — сказала я.

А он ответил то, что я запомнила на три года:

— С этого дня мы спим в разных комнатах.

Всё.

Вот и вся брачная ночь. Ни страсти, ни тайны, ни слов о том, что я ему не нужна, — он просто повернулся и ушёл, а я осталась стоять среди свечей с красной полосой на запястье, и знаете, что меня тогда укололо? Не то, что он ушёл. То, что я была готова к чему угодно: к грубости, к равнодушию, даже к тому, что он меня не тронет никогда. Я не была готова к тому, что он меня боится.

Дракон, который боится собственного огня.

Я потом долго думала, что это — про меня. Что я мало ему нужна, чтоб зажечься, раз меня касаешься — и тебя переключивает. Что я ему не по силам.

Только потом я поняла, что всё было с точностью до наоборот.

Три года.

Я не скажу, что они были адом. Ад — это когда тебе больно каждый день. Мне было холодно. Холод — другое. Холод — это когда тебе кажется, что больно должно быть, а вместо этого ты просто пустеешь, как дом, из которого вынесли всю мебель.

Я жила в Гнезде. Училась быть княгиней: пожимать руки лордам, которые смотрели меня, как смотрят на дорогую игрушку, купленную без толку. Держать спину на охоте, где моё седло всегда было в пяти шагах позади мужа. Улыбаться на приёмах, слушая, как дамы говорят, что «княгиня — красавица и дурочка, привезённая ради молвы».

А ещё — лечила.

Это было единственное моё спасение. Дар у меня рос. Сначала я грела крем-горшки на кухне — Грета, кухарка, была первой, кто сказал мне: «Вы, госпожа, не из тех, кого держат в гостиной. Идите ко мне, я вам покажу, где болит». Потом ко мне пошёл народ: сначала с колотью в боку, потом с горячкой, потом — с тем, что целители северных долин называли «каменной болезнью»: когда в груди человека как будто остывает уголёк, и он чахнет, и никакие настойки не помогают.

Вот это моя искра умела. Я грела тех, кто остыл.

Помню первую женщину, которую я подняла. Она пришла на кухню — худая, серая, с глазами, в которых уже не было света. Я взяла её за руки и просто сидела рядом целый вечер, и огонь у меня в груди перетекал в неё тонкой струйкой, как тепло от печи в промёрзшую комнату. К утру она ела бульон.

Веррон сказал об этом так:

— Полезный дар. Продолжай.

Он никогда не запрещал мне лечить. Вот это я должна признать перед ним, как ни злюсь на него потом. Князь не мешал моим дверям. Он просто никогда не входил в них.

Два раза в год мы обедали вдвоём. Два раза в год у нас был разговор: о землях, о податях, о том, что в южных провинциях неспокойно. Он говорил о войне, я слушала о войне, и оба мы делали вид, что не замечаем, как свеча в подсвечнике между нами сгорает дотла — коротко, без огня, как вся наша жизнь.

А потом случилась ночь, после которой я перестала злиться и начала думать.

У меня случилась горячка. Настоящая, как у моих пациентов: жар, ломота, бред. Грета принесла настои, я себя грела — себе не поможешь, дар ведь лечит других, это свойство искры: чужая боль — топливо, своя — как топить печь собственными дровами. Легче не бывает.

Я лежала и плакала от бессилия, и в какой-то момент мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я подумала — Грета. А потом поняла: нет. От человека у кровати пахло не кухней. Пахало снегом, ветром, пеплом и — едва-едва — огнём, спрятанным глубоко в груди, как уголёк под золой.

Он сидел у моей кровати всю ночь.

Я это знаю не по его признанию — он, конечно, никогда ничего не признаёт. Я узнала это утром: на столике стоял пустой таз, и в нём лежало моё — больше не горячее — полотенце, сложенное вдвое, как складывают, когда жмут лоб. Мокрое. И на коврике у моей кровати был протоптан след: глубокий, тяжёлый, от одного края кровати до двери, взад-вперёд, взад-вперёд. Человек, который протоптал такой след, ходил туда-сюда годами. Или одну ночь без сна.

Я тогда спросила Грету, и Грета отвела глаза:

— Князь приказал принести льда, — сказала она. — Сказал, что жар нельзя сбивать тёплым.

Как будто это всё объясняло. Как будто кто-то назначает лёд, когда лоб больной жжёт, как дрова в камине, и стоит рядом с ней, держа её за руку... нет, «держа» — я не знаю, держал ли. Но возле моей подушки была ямка. Такая, какая остаётся, когда человек опускается на колени. Долго.

С этой ночи я перестала верить, что я ему безразлична.

С этой ночи я начала его разглядывать. По-настоящему, внимательно, как разглядывают человека, про которого вдруг выяснилось, что он — не то, чем кажется.

Я замечала, как он смотрит на меня, когда думает, что я не вижу. Как у него сжимаются челюсти, когда какой-нибудь лорд делает мне чересчур галантный поклон. Как он никогда, ни разу не повысил на меня голос, хотя я, случалось, доводила его до того, что у него на висках густели жилы.

И я замечала, как он смотрит на Изору Вейль.

Изора появилась на вторую зиму. Леди-вдова из соседнего удела, красавица с тяжёлыми косами цвета воронова крыла и с именем, которое я, как выяснилось, слышала раньше: «невеста князя, которая не сбылась». Она приехала на зимний приём — и осталась. Сначала на месяц. Потом ей «понадобилось» поправить здоровье, потом — «решить дела с землями». Она смеялась при Верроне так, что стены звенели. Она положила руку на его рукав — и он не отстранился.

Вот это было хуже всего. Не то, что она приехала. То, что он позволил.

Я целый год смотрела, как мой муж медленно, шаг за шагом, становится чужим при живой жене. И я целый год держала лицо: улыбалась на приёмах, лечила в городке, собирала травы, делала вид, что мне всё равно.

Я не знала, что у Изоры при всём этом было лицо не лучше моего. Я не знала, что она тоже смотрела на Веррона с тоской человека, который когда-то любил и не может отпустить. И уж конечно я не знала, что Веррон в ту зиму трижды приезжал ночевать в мою комнату.

Нет, не так. Я это знала — через год, когда мне про это рассказали. Через год я уже жила в Златоврате, и у меня было имя, и лавка, и свобода, и — я была уверена — новая жизнь.

А он — он, оказывается, спал на коврик у моей двери.

Я не буду делать вид, что, когда мне это рассказали, у меня не перехватило дыхание. Но тогда, тогда — зимой, когда Изора клала руку ему на рукав и он позволял, — я ничего не знала. Я знала только одно: меня выставляют. Меня выстаивают. Меня — выживают.

Наверное, поэтому на осеннем балу я и не упала в обморок, когда он произнёс своё «брак был сделкой».

Я ждала этого — годами. Просто не признавалась себе.

А теперь — смотри, что получилось: я иду к себе по пустому коридору, и у меня внутри впервые за три года не боль, а ярость. И ещё — странное, ни на что не похожее облегчение.

Свободна.

Так я думала.

Четыре дня спустя, когда телега с моими сундуками уже стояла у южных ворот, а я — с бумагой в руках — ждала последней подписи, той самой, которая освобождает меня от князя Северного предела, — я узнала, что свободна не окончательно.

И что у свободы, оказывается, есть цена, у которой есть имя.

Но об этом — следующая глава. Если ты сейчас читаешь это и думаешь, что я тогда развернулась и ушла гордо, ни разу не оглянувшись, — ты угадала. Я развернулась.

А потом оглянулась.

И это была моя ошибка.

Глава 3

«Обрывок разговора, который всё изменил»

Год, когда в Гнезде появилась Изора, я запомнила плохо. У памяти есть странное свойство: она съедает целые месяцы, если они похожи один на другой, как камни в кладке. Но три вещи из того года я помню, и помню их так ясно, будто они случились вчера.

Первая — это то, как я сломала себе обещание.

Я себе тогда пообещала: не буду смотреть, куда он смотрит. Я целый месяц держалась. А потом на утренней охоте увидела, как Веррон подал Изоре руку, помогая сойти с лошади, — обычная вежливость, её бы всякий подал, — и поняла, что смотрю. И смотрю так, что у меня в груди что-то скручивается в тугой узел, как пряжа, которую мнут в темноте.

Ревность. Уродливое, чёрное, липкое чувство. Я не узнавала себя. Я, которая лечила чужих детей и смотрела, как умирают чужие старики, — я стояла в лесу с красными от мороза пальцами и ненавидела женщину, которая улыбалась моему мужу.

А хуже всего, что я ненавидела не её. Себя. За то, что мне есть дело.

Вторая вещь — это мои ночные прогулки.

В Гнезде я спала плохо, и в бессонные часы ходила по замку — так, как ходят по дому, который тебе не принадлежит, но в котором ты давно живёшь: вдоль стен, мимо картин, в башню, где библиотека. В библиотеке у нас было одно окно, выходящее на юг, и я стояла у него и смотрела на дорогу — туда, где заканчиваются земли князя и начинается вольный мир. С дороги весь мой побег рисовался мне тогда глупым: простая, пыльная, холодная, никуда не ведущая.

А потом в библиотеке я услышала разговор.

Мне не следовало его слышать. Он случился за дверью, в коридоре, — я как раз стояла у окна с книгой, а за дверью остановились двое. Я узнала голоса: мой муж и его лекарь Тиль. Тиль был магом — не высокого полёта: умел собирать травы и чуть-чуть читать по огню. И он был единственным человеком, которому Веррон, кажется, говорил что-то кроме распоряжений.

— Она поправляется, — говорил Тиль. — Княгиня. Слабость прошла. Теперь она сильнее, чем была в начале зимы.

— Сильнее — в каком смысле?

— В твоём, — сказал Тиль, и в голосе его было что-то странное. Будто он взвешивал слова. — Огонь в ней разгорается. Я трижды мерил её искру, пока она спит. Она растёт, Веррон. Не по дням, а по часам. Если так пойдёт дальше, к весне она сможет то, чего не смогла бы ни одна целительница за сто лет.

Я стояла за дверью и не дышала.

— И что ты мне предлагаешь? — глухо спросил князь. — Держать её в клетке?

— Я ничего не предлагаю, — ответил Тиль. — Я говорю: то, что ты носишь в груди, она чувствует. Тоже растёт. Вместе с ней.

— Она не знает.

— Она знает, что болит, — мягко сказал Тиль. — Так же, как знает, что болит у тебя. Она целительница. Она чувствует твой жар за три комнаты. Просто пока не связывает его с тем, откуда он.

Наступила пауза. Долгая. Я слышала, как скрипит половица под сапогом князя — он ходил туда-сюда, я уже знала эту его привычку: когда он ходил, он думал. Или сдерживался.

— Тиль, — сказал он наконец, и голос его был очень тихий. — Если бы ты знал, что однажды твой огонь убьёт её, — и знал, что она этого не знает, — что бы ты сделал?

Тиль ответил не сразу.

— Я бы ушёл, — сказал он. — Пока она меня не полюбила.

Я стояла за дверью, прижав ладонь к холодному дереву, и в ушах у меня гудело. «Убить её». «Пока она меня не полюбила». Я тогда — глупая, злая, холодная — поняла это так, как поняла бы любая женщина на моём месте: это про кого-то другого. У него есть та, кого он не может взять, потому что его дар опасен. Поэтому и брак наш — сделка; потому и Изора вдовствует, и он не женится на ней; потому и я тут — нужного сорта печка: греть, лечить, и не спрашивать.

Вы скажете, я сделала неправильный вывод. Да. Я делаю неправильные выводы всю жизнь.

Но именно этот неправильный вывод привёл меня к решению: я перестала ждать. Я перестала смотреть на него с надеждой. Я сжала всё, что во мне ещё было живого — свою искру, свою гордость, свой огонь, — и убрала его подальше, туда, где он не будет жечь никого, включая меня.

И вот тогда мой дар и начал расти по-настоящему.

Третья вещь того года — последняя.

За месяц до осеннего бала я спасла в городке ребёнка. Девочку, дочку кузнеца, у которой из-за какой-то старой хвори не заживало колено — гнило, и нога сохла. Лучшие лекари Севера разводили руками: «только отрезать, и то не факт».

Я пришла к ним в кузницу вечером, села напротив девочки и проделала то, что делала уже сотни раз, — только теперь это было не струйкой, а потоком. Я чувствовала, как из меня уходит жар, как пламя переливается в её колено, как оно плетёт внутри живую ткань, сращивает, оживляет, — и как что-то во мне самой после этого становится не пустым, а наоборот: полным. Как будто, отдавая огонь, я получала взамен огонь более высокого сорта. Как будто искра у меня не затухала — переплавлялась.

К утру девочка встала на ногу. К полудню в городке говорили уже только об этом. К вечеру у моих дверей стояла очередь, а я лежала на кровати без сил и думала, что плакала бы — да нечем.

А наутро в мою дверь постучали. И вошёл Веррон.

Он редко ко мне заходил. Почти никогда — особенно днём. А тут вошёл, сел в кресло у окна и долго молчал, глядя, как я собираюсь. И сказал:

— Ты спасла дочь кузнеца.

— Да, — ответила я.

— Ты знаешь, что теперь о тебе говорят? «Княгиня — живой огонь». «Она лечит так, что даже драконы завидуют».

— Завидуют, — повторила я. — Или боятся?

Вот тут он взглянул на меня. И на мгновение у него было такое лицо, что у меня всё внутри перевернулось. Не серое, не холодное, не то, с которым он объявляет на балах. А лицо человека, который смотрит на что-то живое и тёплое, — и знает, что не может этого взять.

— Завидуют, — сказал он тихо. И вышел.

Я стояла посреди своей спальни и понимала, что между нами что-то изменилось. Что я больше не «полезный дар» из договора. Что он видит во мне что-то живое и тёплое — и боится. Что его слова у двери, сказанные Тилю, — «если бы ты знал, что твой огонь убьёт её» — могут быть не про чужую женщину.

Я гнала эту мысль, как гонят постыдную. А она возвращалась.

За месяц до бала я попросила мужа о разговоре. Мы сошлись в том самом кабинете, где он принимал лордов, — большой, чёрный, с картой Севера на стене. Я стояла у окна, он — у камина, и между нами было ровно столько места, сколько между нами было всегда: весь зал, все три года и вся моя глупость.

— Веррон, — сказала я. — Я хочу спросить тебя об одной вещи. И хочу, чтобы ты ответил честно.

Он сжал челюсти. Я видела.

— Я слушаю.

— Я слышала твой разговор с Тилем в библиотеке, — сказала я. — Про то, что твой огонь может убить. Про то, что уходишь, пока не полюбили. Скажи: это про меня?

Вот тут я поняла, что такое — зима.

Лицо у него закрылось, как заколоченная дверь. Не сердито — просто стало холодным, ровным, деревянным. Он посмотрел на меня — и я впервые за три года увидела в этом взгляде не оценку. Я увидела в нём испуг. Настоящий, тяжёлый, мужской испуг, который он загнал глубоко-глубоко — так глубоко, что вместо него наверху осталась только сталь.

— Ты слышала только часть, — сказал он. — И сделала выводы. Прости, это было не про тебя.

— Тогда про кого?

— Это было про всех, у кого огонь в груди, — сказал он. — А теперь иди. У тебя больные.

Я ушла. Конечно, ушла. Я была княгиней, а не прислугой, чтобы мне указывали, но я ушла, потому что он попросил — а я ещё не научилась не слушать, когда он просил тихо.

Я не знаю тогда, что пять минут спустя он стоял в том же кабинете один, смотрел на камин и повторял хрипло, одними губами:

«Про тебя. Про тебя. Про тебя».

Я не знаю, что в ту же ночь он сжёг в камине письмо, которое писал мне три недели: письмо, где было всё. Про проклятие. Про то, что он не подпишет развод. Про то, что он готов умереть сам, но не дать сгореть мне.

Письмо, которое он так и не отправил.

Я не знаю, что в ту ночь он спустился в нижние палаты, где стоял его оружейный сундук, и достал из него старую, пожелтевшую бумагу — приговор старого колдуна, вытащенный из огня, который сжёг колдуна, но не сжёг его слов.

Потому что, видите ли, проклятие — оно устроено так: его нельзя рассказать тому, кого любишь. Иначе оно сработает раньше.

Я узнала про это письмо позже. Тогда, за месяц до бала, я знала только одно: он мне соврал. Впервые за три года.

И мне почему-то стало не холодно, а жарко. Потому что, когда человек лжёт, что «всё не про тебя», — это всегда про тебя.

Я, к сожалению, не успела этим воспользоваться.

Через месяц на осеннем балу он объявил при всех, что наш брак был сделкой.

Наверное, это и был его способ. Его, драконий: сказать правду громко, чтобы я ушла, пока не сгорела. Уйти от меня, чтобы меня не сжечь.

Я не знала тогда, что он не сжигал — он спасал.

Впрочем, спасибо за это ему, как говорится, отдельное.

Глава 4

«Подпись, после которой я перестала быть его»

Ночь после бала я не спала.

Я лежала в своей постели — в той самой, у которой год назад был протоптан след, — и смотрела в потолок. В комнате было тихо. Так тихо, как бывает только в доме, из которого уходит человек: не пусто, а в ожидании пустоты.

Я думала о том, что скажу отцу. Отец мой к тому времени уже два года как жил в Златоврате, на юге, — я выхлопотала ему место при большой больнице, и он писал мне каждые две недели. Письма его были похожи на него самого: аккуратные, сухие, с длинными жалобами на сквозняки и короткими — «как ты, дочь?». Я отвечала: хорошо. Я ему всегда отвечала «хорошо».

Наутро в мою дверь постучали. Не Грета — я уже различала стуки. Этот был тяжёлый, короткий. Так стучал только один человек в этом замке.

Веррон вошёл и поставил на мой столик кожаную папку. Всё. Ни «доброе утро», ни «прости». Просто папка.

— Вот, — сказал он. — Твой экземпляр. Второй — у моего нотариуса. Третий — в архиве.

Я смотрела на папку, как смотрят на приговор. Всё-таки до этой минуты, до этого пахнущего кожей предмета, я могла делать вид, что это сон. А тут — реальность. Тонкая, кожаная, с кожаным же шнурком.

— Ты торопишься, — сказала я.

— Ты сама сказала: уйду сегодня. — Он помолчал. — Я не хотел, чтобы ты уходила с мыслью, будто я тебя удерживаю.

— А ты удерживаешь?

Тишина. За окном ветер гнал по двору первый желтый лист.

— Нет, — сказал он.

Я взяла папку, открыла. Листы были исписаны ровным, канцелярским почерком, и через полстраницы я перестала читать, потому что читать это было всё равно что читать собственное надгробие. «Брак, заключённый... расторгнуть... стороны свободны от взаимных обязательств...»

— У тебя замерли руки, — сказал Веррон.

— У меня всегда мерзнут руки утром, — ответила я.

Потом я взяла перо, обмакнула его в чернильницу — она стояла тут же, будто мне заранее приготовили, будто он знал, что я не стану тянуть, — и подписала. «Веста Корнева». Своё девичье имя. Три года я писала «Веста Скарр», и вот, выяснилось, что оно отлежалось в сундуке нетронутым, как платье, которое не надели.

— Готово, — сказала я. — Так? — и протянула ему папку.

Он взял. Пальцы у него были тёплые. У всех драконов тёплые руки, это не показатель.

И вот тут он сказал слова, которые я буду вспоминать потом ещё долго — и каждый раз, когда буду их вспоминать, буду слышать в них что-то новое.

— Веста, — сказал он. — Если когда-нибудь... если тебе понадобится помощь. Любая. Мой замок всегда будет для тебя открыт. Ты поняла меня?

Я поняла. Я очень хорошо поняла. «Мой замок всегда будет для тебя открыт» — это был самый странный прощальный подарок, какой мне делали.

— Спасибо, — сказала я. — Я постараюсь не нуждаться.

Он вышел. А я осталась стоять посреди комнаты с пером в руке и думать, что я только что подписала себе свободу — и что от этого почему-то болит не в груди, где болело всегда, а в горле. Горло болело как-то по-глупому, по-детски.

Грета собирала меня до вечера. Вернее, я собиралась, а Грета ходила следом и бормотала: «Госпожа, а это возьмите, госпожа, а это». Она совала мне в сундук свёртки, которых я не заказывала: тёплые платки, банки с мёдом, шерстяные носки, мешочек с какими-то кореньями. А когда я спросила, откуда коренья, она отвела взгляд.

— С кухни, госпожа.

— Грета, на кухне нет кореньев от кашля.

— Теперь есть, — сказала она упрямо. — И вы их возьмёте, потому что, — и тут она всхлипнула, — потому что на юге холодно по-своему, а вы наша, тёплая, такую на юге мороз продует.

Я обняла Грету. Она пахла тестом и золой, и от неё было тепло — настоящее, человеческое, не драконье.

— Я заберу вас с собой, — сказала я. — Нет-нет, не спорьте. Вы нужны мне больше, чем этому замку.

Грета разревелась в голос. Я — нет. Я не имела права: у ворот уже стояла телега, и я решила, что до ворот доеду сухой, с прямой спиной, как положено.

У южных ворот Гнезда меня ждали двое: мой нотариус, молодой человек с лицом, которое выражение лица заменялось очками, и Тиль. Маг стоял в стороне, в сером дорожном плаще, и я вдруг заметила, что он держит в руке свёрток — не мой, а тот, что собирал, должно быть, всю ночь.

Он подошёл, когда я уже садилась.

— Госпожа, — сказал Тиль тихо. — Вы едете в Златоврат?

— Да, — ответила я. — К отцу.

— Тогда вот. — Он вложил мне в руку свёрток, мягкий, тёплый. — Это не еда, не платье. Это письмо. Не читайте его сразу, — сказал он, и в глазах у него было что-то, от чего мне стало не по себе, — а когда прочтёте — помните: некоторые люди жгут письма, потому что боятся не огня. Они боятся, что письмо их полюбит.

Я хотела спросить, о ком это. Но Тиль уже отступил, и я осталась со свёртком, а телега тронулась.

Я обернулась.

Гнездо стояло на скале во всей своей угрюмой красе: три башни, чёрные зубцы, стены, которых не брала ни одна армия за двести лет. И на стене — у самой южной? нет, у той, что выходит на дорогу, — стоял человек. Один. Я узнала его по плечам, по тому, как он стоял, — он всегда стоял как человек, который держит на плечах больше, чем может унести.

Веррон смотрел, как я уезжаю.

И вот тут я почти сломалась. Я почти велела возчику остановиться. Я почти выскочила и побежала обратно — зачем? я не знала; наверное, чтобы спросить: почему у тебя такое лицо, будто это не ты меня выгнал, а я тебя бросаю?

Но я не побежала. Я подняла руку — так, как поднимают, когда прощаются, — и отвернулась. И телега выехала на дорогу, и Гнездо осталось за спиной, и с каждым шагом копыт оно делалось меньше, меньше, меньше.

А потом сзади, со скалы, ударило. Не крик. Не грохот. Просто — воздух над Гнездом пошёл волнами, как над печью, которую открыли. И в небо над замком встал столб света.

Я знала, что это такое. Это был не пожар. Это было — пламя, сорвавшееся с цепи. Такое вырывается у дракона, когда он в ярости, в отчаянии или — так сказала бы моя мать — когда он впервые за много лет позволяет себе быть живым.

Я села ровнее. Сердце у меня колотилось, и я сказала себе: это не твоё дело, Веста. Ты больше не его. Ты свободна, ты едешь к отцу, у тебя есть дар, у тебя есть руки, и у тебя есть одно правило: не оглядываться.

Через три часа дороги я всё-таки оглянулась.

Гнезда уже не было видно. Только на самом краю неба, на юге, плыло странное, низкое облако — серебристое, длинное, на облако совсем непохожее. Скорее уж на след от крыльев.

Я смотрела на него, пока оно не растаяло.

И знаешь, что я почувствовала? Не жалость. Не злость. Вот что странно — я почувствовала себя раздетой. Все три года у меня была роль: жена, княгиня, целительница при замке. А теперь — ничего. Просто Веста Корнева, двадцать один год, с сундуком, со свёртком, с письмом от Тиля — и с жизнью, которую надо выдумывать заново.

Я бы сказала, что это страшно. Но, если честно, было и другое. Было чувство, которого я не знала с восемнадцати лет.

Наконец-то я никому не должна.

Так я думала. Ещё целых четыре дня.

Письмо Тиля я распечатала на второй день пути, в придорожной гостинице, за чашкой мятного отвара. Письмо было короткое — три строки, и я бы сказала, что не поняла его, если бы не поняла.

«Госпожа, я отдаю вам то, что не отдал бы никому. Он не подписал свой экземпляр. Проверьте архив, когда будете в Златоврате. И простите нас обоих — он любит вас, а я, кажется, помог ему это скрыть. Т.»

Я перечитала три раза. Потом сложила, спрятала за пазуху и просидела до утра, глядя на огонь свечи.

Дракон не подписал развод.

Я была свободна.

И я была — нет, стоп. Пока я не скажу этого вслух, оно не станет правдой. Так что вот.

Я была свободна. А он — нет.

И как я ни убеждала себя, что это не моё дело, — в груди у меня, где жила искра, что-то горячо и упрямо отвечало: «Твоё».

Глава 5

«Златоврат, в котором я начала жить заново»

Юг встретил меня мокрым снегом и запахом дыма.

Златоврат был городом, где всё делалось громко: рынок кричал, колокольни звонили, ремесленники сбивали цены, а шесть больших печных труб над кварталом красильщиков дымили в небо, как шесть флагов. Я стояла на площади с телегой, с Гретой и с тремя сундуками и чувствовала, как меня разбирает на части — нет, не от горя. От свободы. От воздуха, в котором не было ни дракона, ни его стен, ни его взгляда.

Отец жил на окраине, при больнице Святого Огня. Я умирала от желания увидеть его — и в то же время боялась: письма мои, как я уже говорила, были «хорошо», а что я скажу ему лицом к лицу? «Папа, я развелась»?

Всё оказалось проще.

Отец стоял во дворе больницы с глиняной кружкой и смотрел, как я снимаю перчатку, чтобы обнять его. Смотрел долго, и я видела, как у него на лице меняется всё: сначала недоверие, потом узнавание, потом — то самое, отчего у меня сжалось горло.

— Ты похудела, — сказал он.

— Это вы похудели, — возразила я.

— Ну, — сказал он, — у меня тут сквозняки.

А потом он обнял меня, и его руки были всё такими же: сухими, жилистыми, тёплыми, с запахом горьких трав — запахом, с которым я спала все свои восемнадцать лет. И я, кажется, впервые за долгое время заплакала — беззвучно, в его плечо, так, чтобы никто не видел.

Я сняла комнату над аптекой на Оружейной улице. Небольшая — кухонька, спальня, окошко на двор, где всегда орал петух соседа. Грета поселилась внизу, у хозяина аптеки, и через неделю уже заправляла там всем, включая хозяина.

А я — я открыла своё.

У нас на юге целительниц много, но почти все — с травами да заговорами. А я была с огнём. И вот это, как выяснилось, была королевская редкость. «Живой огонь» — так я назвала свою лавочку. Маленькая, в пол-окна, с вывеской, которую я расписала сама: огонёк над ладонью. Люди сначала заглядывали — посмотреть. Потом стали приводить больных.

У меня была одна особенность, которую я заметила ещё в Гнезде: моя искра не просто лечила, она ещё и ждала. И чем больше я отдавала даром, честно, без корысти, тем сильнее становилась. В Златоврате это раскрылось во всю: я могла сидеть с пациентом до утра, а к утру чувствовать себя не выжатой, а заряженной, будто кто-то вместо меня подкладывал дрова в мою печку.

До поры до времени я думала, что так и должно быть. Что это свойство искры.

Нет. Это было свойство того, кто в это время сидел в седле на дороге в Златоврат. Но я тогда и знать не знала, а Грета, которая знала всё на свете, что происходит в доме, — мне об этом не рассказывала. Берегла, наверное.

Первую ночь в своей комнате я спала так, как не спала годами: глубоко, без снов. А под утро мне приснился огонь. Большой, спокойный, тёплый — не злой, нет, такой, у которого хочется сидеть и молчать. И кто-то в этом огне стоял. Я не видела лица, но знала, что это он, и мне во сне было не страшно, а топко, как в детстве, у матери на коленях.

Проснувшись, я решила, что это память. Злая, дурная, глупая память, которая не имеет ко мне больше отношения.

Однако жизнь распорядилась иначе.

Во-первых, у меня не получалось его забыть. Знаете, как это бывает: разлюбить человека невозможно по приказу, но можно закрыть дверь и притвориться, что там пусто. Я притворя-

лась. Я лечила, я торговала травами, я ходила на рынок с Гретой, я смеялась на кухне с хозяином аптеки, я писала отцу письма, а он мне — свои, с жалобами на сквозняки. Жизнь была даже хороша.

Но по ночам я просыпалась в три часа — и в три часа лежала, и понимала, что знаю, где он. Чувствовала. За три года совместной жизни я привыкла к его огню, как привыкают к запаху дома: вот он у меня за спиной, в другом крыле, за три стены. И теперь, когда между нами были сотни вёрст, я чувствовала его так же ясно, как раньше — за три стены. Он никуда не делся. Он был где-то там, на севере, но — я бы поклялась — смотрел в мою сторону.

Пришла я к этому выводу не сразу, а через один случай.

Месяца через два после переезда я лечила лавочника. Горячка, тяжёлая, с бредом. Я сидела с ним всю ночь, и когда к утру жар спал, у меня сами собой вырвались слова:

— Как князь? — спросила я. — Вернулся с объезда земель? —

Лавочник открыл глаза и посмотрел на меня с удивлением:

— Какой князь?

— Северный, — сказала я. — Скарр. Он же...

Я осеклась. Лавочник моргнул. И я вдруг поняла, что делаю: я в чужом городе, в чужом доме, при чужом больном спрашиваю про человека, с которым у меня всё кончено. И спрашиваю не потому, что мне интересны его объезды. А потому, что я знаю: он в эти дни объезжал южные земли. И это я знала не из писем и не из новостей. Это я знала изнутри, как знают, с какой стороны дует ветер.

После этого случая я стала осторожнее. Запретила себе думать про него с утра. Днём мне было легче: днём приходили люди, дети, старики, и у всех у них была своя боль, и моя искра любила их боль больше, чем мою собственную.

А вечером приходил Тиль. Подумаешь, нет! — вот так. Тиль. Маг с севера, который «ехал в столицу за книгами» и «случайно оказался» на Оружейной улице ровно через месяц после того, как я там поселилась. Он принёс мне корень лопуха — «свежий, вам понадобится» — и сел пить чай. И приезжал после этого каждую неделю.

Я хотела его спросить про письмо. Про «он не подписал свой экземпляр». Я носила этот вопрос в себе, как осколок, и не знала, с какой стороны его достать. Тиль, а бестия, всегда уходил до того, как я решалась.

Однажды он всё-таки меня опередил.

— Госпожа, — сказал он, глядя в свою чашку. — Вы не спрашиваете, зачем я приезжаю с севера каждую неделю. А зачем — знаете?

— За лопухом, — ответила я.

— За лопухом, — согласился он. И, помолчав, добавил: — И за тем, чтобы сказать вам: в Гнезде никто не спит по ночам.

Я сделала вид, что не услышала. Он не повторил. Но больше ни разу за весь вечер не посмотрел на меня — и это, как ни странно, было страшнее любых слов.

А потом случилось то, что переменяло всё.

Я уже говорила: у меня была жаркая практика. Ко мне записывались за неделю, у дверей висела грифельная доска, и я по ней вычёркивала имена. Даже сам глава больницы Святого Огня, важный муж с бородой веером, приезжал ко мне «на консилиум» — то есть посидеть, посмотреть, как я грею руки над больным, и крикнуть.

И вот как-то в четверг, под вечер, у меня в приёмной сидел мальчишка — курьер из дома Кросов, самое богатое в Златоврате торговое семейство, — и передал мне письмо. На бумаге, пахнущей духами, было написано: «Уважаемая госпожа Корнева, прошу вас нанести визит в наш дом. Болен мой отец. Эрик Крос».

Я знала, кто такой Эрик Крос. О нём говорил весь город: молодой наследник торгового дома, удачливый, красивый, с улыбкой, от которой у девиц Златоврата, по слухам, пересыхали

чернильницы. Он был вдов, нет, он был холост, нет, он был — в общем, он был не женат и богат, и эти два обстоятельства почему-то всегда считались достоинствами.

На его отца я пошла назавтра утром. И вот там, в доме Кросов, с мраморной лестницей и олеандрами в кадках, я увидела впервые, как дела у людей, которые не экономят на свечах. Дом был огромный, светлый, весь в стекле и золоте, и от него не пахло замком — не пахло ни горечью, ни пеплом, ни тем давлением, от которого не знаешь, куда деть руки.

Больного я подняла за три дня: у старика Кроса была застарелая хворь лёгких, и мой огонь её высушил, как солнце высушивает сеновал. Старик кряхтел, благодарил, велел выплатить мне «сколько скажешь». Я взяла столько, сколько обычно брала, — и он посмотрел на меня круглыми глазами, а потом расхохотался так, что задребезжали олеандры.

Эрик Крос провожал меня до калитки.

— Госпожа Корнева, — сказал он, и в голосе его было что-то тёплое, как в июле. — Я вам обязан. Отец — это всё, что у меня есть.

— Тогда лечите его хорошим настроением, — ответила я. — Лучше всяких искр.

— А вы, — улыбнулся он, — лечите его искрами. Может, станете нашим домашним чудом?

Я не знала, что ответить, и он, к чести своей, не ждал ответа. Он просто поклонился — легко и почтительно, как кланяются женщине, которую уважают, — и я ушла от него с чувством, что мир, оказывается, бывает не только серым и тяжёлым.

Вот так в моей новой жизни оказались: лавочка, Грета, отец, Тиль с его еженедельными визитами, и Эрик Крос с его улыбкой. И если честно — впервые за долгое время я подумала: а может, ничего и не потеряно. Может, у свободы ещё будет вкус. И у меня будет кто-то, кто смотрит на меня не как на печку, не как на «полезный дар», а как на живую, тёплую, нужную.

Я не знала тогда, что за всю эту весну, каждый вечер, ровно в тот час, когда я закрывала лавочку, в переулке напротив замирал всадник. Что он приезжал издалека, с севера, за сутки пути, и стоял в тени, глядя, как гаснет свет в моём окне. И что он раньше меня самой узнал, кто такой Эрик Крос, — и что от одного этого имени у него сжимались кулаки.

Я не знала.

Я просто чувствовала по ночам его огонь — всё ближе, всё ближе, — и говорила себе, что это мерещится. Потому что кому, скажите на милость, приедет в голову сторожить бывшую жену в чужом городе?

Кому.

«Кому» я узнала через месяц. И это был тот вечер, когда всё пошло наперекосяк.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.